



**К. А. СВАСЬЯН**

**Максимилиан Волошин**

1

Наверное, ни на одном из действующих лиц русского «начала века» печать и знак непредсказуемости не почтили столь ошеломляющим образом, как на Максимилиане Волошине. Другьям и сообщникам по цеху поэтов и богемным журфиксам и в дурном сне не могло присниться, что этот богатырского размаха и склада фронт, ностальгирующий больше в России по Парижу, чем в Париже по России, и напоминающий, скорее, верленовского дьявола, который говорит по-итальянски с русским акцентом, однажды — в страшные годы России — выпрямится во весь рост, заслонит в себе латинянина и заговорит голосом Архангела России. До этих лет он только и делал, что уходил в чужое, трансформируя чужое в своё, как это мог только русский. Чужим своим было французское: «...пути ведут меня на запад — в Париж, на много лет учиться: художественной форме у Франции, чувству красок у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, стиху — у Готье и у Эридия». Вдруг выяснилось, что от готических соборов и средневековой латыни быстрее было добраться до своего родного, чем оставаясь и маринуя себя в родном. Вся сжатая в комок боль, на которой настаивались чаяния русских первенцев, от Чаадаева до Александра Блока, взорвалась вдруг в сознании этого вчерашнего парнасца и мистификатора судеб сплошной инспирацией падающих, как молот, прозрений и пророчеств, сравнимых по силе и иступлённости выражения с проповедями Иоахима Флорского и Савонаролы. Если допустить, что Душа народа (Архангел) — это первофеномен всего адекватного, вменяемого и необходимого в становлении народа, а уже через народ — и человечества, то здесь же следует искать и источник невыносимых страданий, множащихся в нагромождении ненужностей и аномалий развития, притом что связь между нормальным и ненормальным, нужным и ненужным исчисляется,

как правило, отношением одного к десяткам (если не сотням) тысяч. Народ, узнаваемый не в столбцах цифр и статистических совокупностях, а в существе, — это никогда не голое недифференцированное большинство, а меньшинство в большинстве: немногие избранные, в сознании которых живёт не то, чего *«хочет»* большинство, а то, что большинству *«нужно»*. Теперь, в респективе прожитого и пережитого, можно знать, что недолгий отрезок времени, называемый русским *«серебряным веком»*, и был весь без остатка поиском ответа на вопрос, а *что же нужно*. Несуразность пробуждения России в Европу лежала не в прихотях петровской перестройки, палкой и кнутом загоняющей паноптикум византийских замершестей в мир абсолютно чуждых им форм и движений, а в смещённости времён. Этой юной душе предстояло экстерном в считанные десятилетия осилить тысячелетний пенсум западного гения, о который она ушиблась и в которого пробудилась как в себя. *«Догоним и перегоним»*: под этим знаком свершался русский мир, похоже, так и не заметивший в лихих темпах гона, кого и что он, собственно, обгоняет: Европу ли с её Платонами и быстрыми разумом Невтонами или Америку — *«по производству мяса, молока и масла»*. *«Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь»*, говорит Заратустра у Ницше, *«этого не прощает мне ни одна ступень»*. Можно, конечно, понять брезгливость падающей в небо души при виде сплошных ступеней, за которыми не видно лестницы. Но не до такой же степени, чтобы, поднимаясь вверх по лестнице, мнить, что у неё вообще или почти нет ступеней!

## 2

В несколько гротескном, но не менее правдоподобном изображении. Когда *«русским мальчишам»* стало тесно в романах Достоевского, они начали спрыгивать с их страниц прямо в жизнь, живя в жизни как в романе и стирая грань, отделяющую вымысел от правды, — к смятению староколенных критиков, потешающихся над фантазиями этого *«жестокоталанта»* и *«кладоискателя»* и увидевших вдруг фантазии осуществлёнными. Конечно, Михайловский был прав: ничего подобного в России не было, а если и было, то не как правило, а как исключение, недоразумение, аномалия. Вдруг с какого-то момента всё изменилось, и вчерашняя аномалия стала общим местом сначала западного восприятия России, а после, рикошетом от него, и русского самовосприятия. Поправкой к старому тютчевскому *«умом Россию не понять»* стало бердяевское: *«По Достоевскому люди Запада узнают Россию»*. Наверное, здесь и следовало бы искать ключ к разгадке этого застывшего, как соляной столб, *«прекрасного мгновения»*:

буйной жизни вундеркинда-лихача, возомнившего себя способным за какие-нибудь двадцать с лишним лет догнать и перегнать тысячелетие европейского сознания. Поздняя вывеска «серебряный век» окажется лишь красивым эвфемизмом, маскирующим диссонанс: фигуру кентавра, верхняя, «сознательная», часть которого обгоняет Европу, а нижняя, «бессознательная», тем глубже увязает в Азии. Если культура, по удивительно точному определению Ницше, это «единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа», то говорить о русской культуре — в лучшем случае недоразумение, а в худшем абсурд. Это не культура, а некий пир в преддверии чумы, когда петербургским и московским мальчикам, выпрыгнувшим из Достоевского прямо в религиозно-философские собрания, захотелось вдруг стать «стариками», если не сразу «старцами». Не то чтобы с них это и началось. Начало приходится искать в самом их начале — с петровских времён. Ещё Жозеф де Местр удивлялся этой потребности в волшебной палочке. «Отчего эта фатальная спешка? Можно подумать, перед нами подросток, которому стыдно, что он не старик. Все прочие нации Европы два или три века лепетали, прежде чем стали говорить: откуда у русских претензия на то, что они заговорят сразу?» Это самое настоящее и воинствующее *антифаустианство*. Нужно представить себе Фауста, жадно осушающего не эликсир молодости, а эликсир старости, чтобы как можно быстрее стать дряхлым и окаменеть в прекрасном мгновении вошедшего в роль старца подростка. Именно эту особенность национального характера Достоевский возвёл до ранга *литературы*, которая, как известно, в России больше, чем литература. После чего и пробил час мальчиков, ворвавшихся в жизнь из литературы и заживших в жизни как в романе. В несколько неуклюжей, зато более адекватной формулировке: пришедших в жизнь из больше, чем жизни, и сделавших из жизни больше, чем жизнь. При этом сетуя на собственную широту — от идеала Мадонны до содомского идеала — и даже мечтая её сузить. Загадка русской души объяснялась пружиной, растягиваемой «подростком» до той самой точки, после которой она переставала быть пружиной и становилась ненужностью. Они и стали ненужными — в момент, когда пружина русской истории лопнула в большевистской растяжке, и наступила «глухота науच्या». «*La République n'a pas besoin de savants*» (республике не нужны учёные) — эта бессмертная реплика французского судьи, отправившего на эшафот Лавуазье, и стала концом разгениальничавшихся мальчиков. Какую-то часть их посадили на корабль и сослали в Европу, которую они и дальше по инерции продолжали обгонять под модным ярлыком «русские философы». Оставшиеся ненужные бесшумно и незаметно ушли в молчание и смерть.

## 3

«Мы давно уже философствуем о последнем», написал однажды Бердяев. «Мы» — это не только множественное возвеличения (pluralis majestatis), но и буквально «мы»: элитные немногие и последние. Апокалиптики и апокатастатика. Те, кто ещё подростками, недорослями и студентами попадают в конец мира и истории и чувствуют себя в конце истории и мира как в своём начале. Таков канон философствования в России: философия в России начинается с конца и кончается на конце, потому что — *куда же дальше*. Маргарита Волошина вспоминает, как ей приходилось однажды в Париже знакомить Мережковских с Штейнером. «Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Рудольфа Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала его как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. “Мы бедны, наги и жаждем, — восклицал он, — мы томимся по истине”. Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, а, напротив, убеждены, что владеют истиной. “Скажите нам последнюю тайну”, — кричал Мережковский, на что Штейнер ответил: “Не раньше, чем Вы скажете мне предпоследнюю”». Но до предпоследней они и не думали снисходить. Предпоследняя тайна была им, привыкшим философствовать о последней, слишком пресной и тёплой. Они просто выплёвывали её, как этого и требовал апокалиптический инструктаж. «Мережковский», рассказывал Андрей Белый, «умел голосить и молчать, говорить не умел он. Посетив тихий Фрейбург, он грозно рычал на философа Генриха Риккерта, тихого мужа: “Вы, немцы, мещане, а русские, мы, мы не люди — мы боги или звери”. А философ, страдающий боязнью пространства, признавался Степуну, что от этого рыка не мог долго он опомниться: “Вы, русские, странные люди”». Наверное, в каком-нибудь далёком (или близком) будущем серебряный век будет увиден не только во всём блеске, но и во всей нищете: как псевдоморфоз в шпенглеровском смысле, гениальный симулякр наспех вобранных, впитанных, но не усвоенных, не переваренных идей, объясняемых по аналогии не с веком Перикла или итальянским чинквеченто, а с детской болезнью: скарлатиной, коклюшем или корью духа. Очень показательная неадекватность, когда трудности и издержки роста интерпретируют как возмужалость и устраивают себе бег с препятствиями, так и не на-

учившись толком стоять на ногах. Они всё ещё догоняли и перегоняли Европу, ухитряясь быть Сольнесами, не будучи строителями, и срываясь с башен, построенных другими. Просто Писание в России предпочитали всегда читать с конца, с «Апокалипсиса», в котором и застревали, мороча себя и других фейерверками эсхатологических метафизик. Когда потом пришли предпоследние: жёсткие, негибачаемые, прямоволосые, волевые, весёлые рябтя — братки, матросы, железняки, джокером декретов «о мире» и «о земле» побившие всех козырных эсхатологических тузов, это было не отрезвлением и пробуждением в реальность, а всё тем же светопреставлением, только теперь уже средствами не мистики и апокалипсиса, а более эффективного воинствующего атеизма.

## 4

Из двух тенденций, навязываемых с разных концов пониманию — обобщать всё и обходиться вовсе без обобщений, — предпочтение отдаётся никакой. Нет спору, что, обобщая, мы упускаем из виду главное и существенное. Дьявол (застрельщик и первопроходец познания) торчит, как известно, в деталях. Менее известно, что ему перечит другой дьявол, застрявший в общем и отвлекающий внимание от мелочей. По сути, тот и другой лишь имитируют рознь, преследуя с разных концов одну и ту же цель — сбить с толку и загнать понимание в тупик: один раз, не дав за деревьями увидеть леса, другой раз, внушая, что деревья заслоняют лес и что лучше не обращать на них внимания. Так, исследуя русский серебряный век, можно опознавать его избранников исключительно по прикрепленным к ним табличкам «символизм», «религиозно-философские собрания» и т. п., но можно же ведь и настолько уйти в очевидность различий, что проглядеть родственность и общность. К примеру, сравнивая Брюсова, Блока, Элліса и, скажем, Вячеслава Иванова. Их различия, уже на грани несовместимости, не вызывают сомнений, но кто бы решился представить себе эти имена вне повязавшей их общей эйфории и кармы! Или, беря другой пример. Что может быть нелепее, чем когда видят Андрея Белого в одном ряду с антропософами? Разве что когда видят его ушедшим из антропософии. Ведь факт, что неантропософы ругали и ругают его за то, что он антропософ, а антропософы за то, что неантропософ. Те и другие под сенью детского сада и с погремушками в руках. Избежать этой двудьявольщины можно, если воспринимать крайности в знаке не альтернативы, а взаимодополнения и синхронности. Не как: «или-или», а как: «и это, и то». Антропософия в Андрее Белом (как и в очень немногих других — тогда и теперь) настолько стала жизнью и смыслом жизни, что достаточно поместить его среди — тогдашних и теперешних — антропософских недоразумений,

чтобы вздрогнуть от нестерпимого диссонанса. Вопрос: отчего носители гуманитарных знаний выглядят, как правило, столь неадекватными по сравнению с их естественнонаучными коллегами? Ответ: потому что они исследуют, понимают и объясняют гуманитарное на естественнонаучный лад. Надо только представить себе физика, гуманитарно интерпретирующего природные явления! Написал же однажды известнейший в своё время Бернард Бавинк в книге под заглавием «Итоги и проблемы естественных наук», что «мир — это не только логос, но одновременно и, возможно, в глубочайшей своей основе эрос, разум и воля воедино». Примерно так, если не хуже, работает и гуманитарий, когда перемаывает единичное и индивидуальное в жерновах обобщений и судит о вещах не по неповторимому в них, а по наклеенным на них биркам. *Легкость физики и невыносимая трудность наук о духе* в том, что физик идёт всегда от общего к частному и подводит частное под общее, чтобы объяснить его, а гуманитарий *должен* делать всё наоборот: идти от частного к общему и подводить общее под частное, чтобы объяснить именно общее. Говоря конкретно: не Пушкина поэзией, а поэзию Пушкиным. Если Пушкина и можно обобщать, то не иначе как по ведомствам физиологии (биологии) и социологии, где он — ни по составу кишечной микрофлоры, ни по данным левада-центра — не отличается от своего балды и вообще любого балбеса. Но из того, что его никак нельзя обобщать в его единственном и неповторимом, не вытекает ещё недопустимость культурных обобщений *вообще*. Разумеется, они не только есть, но и необходимы. Обойтись без них нельзя, потому что без них нет и не может быть самого понятия и факта *культура*. Просто общее (понятие) культуры — это всегда производное от единичного и фактического. Нет никакой русской (итальянской, французской, немецкой) культуры, а есть конкретные Пушкин, Гоголь, Владимир Соловьёв (Данте, Петрарка, Декарт, Вольтер, Гёте, Гегель), от которых и заключают (обобщают) к порождённым ими национальным культурам, а от последних к *общечеловеческой*. Понять это и значит — услышать Моцарта в паучьей глухоте. Потому что скорее караваны верблюдов пройдут сквозь игольное ушко, чем это будет понято миром, сидящим на игле демократии и либерализма.

## 5

Общее русской культуры за весь неполный век её жизни, от пушкинских «Стансов Толстому» до блоковского «Пушкинскому дому», лежит в тематических центрах притяжения мысли, реактуализируемых из поколения в поколение. Наверное, самый навязчивый и болезненный из них означен как *интеллигенция и народ*. Ничего подобного не знала

Европа, интеллигенция которой (в западной коннотации, интеллектуалы, или, в обмирщённой версии, клерки) если и обращалась к теме *народ*, то спорадически и никак не соотнося её с собой. Русский случай демонстрирует в этом отношении не только уникальность, но и в некотором роде фатальность, напоминающую платоновский миф о любви, где две рассечённые половинки андрогинов страстно ищут друг друга для восстановления первоначальной целостности. Пожалуй, наиболее яркое и адекватное (тем более адекватное, что непреднамеренное) выражение эта тема нашла у Достоевского в романе «Идиот», начинающемся со случайной встречи двух героев: князя Мышкина, задуманного как «*русский Христос*» и оказавшегося, к смятению автора, просто идиотом, с купчиком Рогожиным. Удивительно, как их уже с первых же слов тянет друг к другу, словно бы речь и в самом деле шла о двух половинках рассечённого надвое целого. Позже они даже обмениваются крестами и становятся побратимами: бывший пациент швейцарской психиатрической клиники, кроткий, робкий, интеллигентнейший молодой человек и пороховая бочка звериной астральности! Невыносимо разные, различные, противоположные, противопоказанные, ущербные каждый в себе и в то же время неразлучные, родные, как бы единокровные в некоем инстинктивно ощущаемом загадочном целом. Один представляет сознание, чистую доску философов, Я, отрезанное от всего стихийного, животного, бессознательного и робко прозябающее в собственной стерильности. В другом нет и следа сознания и Я, а только хаос безотчётной, безумной и неконтролируемой страсти. Это полярность дня и ночи, света и тьмы, яви и сна: святости, воспринимаемой (в плоской оптике века) как идиотизм, и бесшабашного разгула инстинктов. В Рогожине, омуте и бездне страсти, предчувствует Мышкин свой единственный шанс перестать быть идиотом, как и в Мышкине, омуте кротости и смирения, — чувствует Рогожин свой шанс не быть зверем. Первый может выздороветь во втором, при условии что второй одновременно выздоравливает в первом. Это химия преобразования полюсов в третье абсолютно новое качество: ядовитого натрия и ядовитого хлора в соль. Третье (третья) обоих побратимов, то, в чём они так крепко привязаны друг к другу, — некая *femme fatale*, адская смесь девочки и блудницы, искушающая их обманчивым образом целостности, в которой каждый видит и находит себя, свою невинность и свою звериность, только не в преображённом виде, а в механических и по-прежнему остающихся ядовитыми проекциях... Здесь (как во всём у Достоевского) источник и начало русской мысли: тема *интеллигенция и народ*, о которую десятилетиями билась и о которую вдребезги разбилась эта мысль. Народ, как тёмная бессознательная масса астральности, и интеллигенция, как свет и сознание: порознь — противостояние звериности

и идиотизма, вместе — небывалое, неслыханное будущее. В этой загадке, от таинственного странника Фёдора Кузьмича до Льва Толстого и Александра Добролюбова, явлено распутье русского сознания. Либо сойти в ад животности, чтобы расколдовать её силою Я: приручить, одомашнить её, кормя с руки, как Св. Серафим Саровский медведя. Либо уйти в себя, в башни своих талантов и журфиксов, философствуя о последнем: о духе и плоти, богочеловеке и человекобоге, четвёртой ипостаси и народе-богоносце, пока, наконец, народ-беспризорник не очнётся в чужом и чуждом сне «*предпоследних*» и не взорвёт своё пусть гениальное, но высокомерное и амбициозное сознание бессмысленным и беспощадным бунтом.

## 6

В изломах этой темы, от соприкосновения с которой русский серебряный век лопнул как мыльный пузырь, Макс Волошин — уже не поэт, живописец, критик, журналист, художник-мистификатор, акционист *sui generis*, символист, киммериец, декадент, маг, масон, колдун, гностик, антропософ, а просто *праведник* и *гражданин*. Сдвиг сознания и души, начавшийся в нём с мировой войной, продолжившийся после революции и достигший пика в годы гражданской войны, невероятен. Это старый ницшевский канон: «*Вся история, как лично пережитая, результат личных страданий (только так будет правдой)*», осуществлённый здесь вдруг в пугающих, неправдоподобных масштабах. Он не сорвал с себя личное, освободив место сверхличному; невероятность случая в том, что личное потенцировало себя здесь до сверхличного: не уступило ему место, а вобрало его в себя. Если представить себе (дикая, но многообещающая ассоциация) Алёшу Карамазова, продолженным из незаконченного романа в российскую действительность, в явь её «*страшных лет*», только уже не среди блоковских «*детей*», а повзрослевшим и окрепшим мужем, скажем, в Крыму в годы бойни, безумия и гекатомб гражданской войны, то воображение тщетно будет сопротивляться возникшему откуда-то стихийному образу коктебельского пустынножителя, столь недавнего ещё прописанного в Париже, а теперь вселившегося в карадагский ландшафт и зажившего в нём как в теле. Или, переводя представление в вопрос: что делал бы младший Карамазов, попади он из родного Скотопригоньевска в Крым времён братоубийственной войны? Об этом известно мало и отрывочно, со слов очевидцев и по слухам, но так ведь это и подобает вещам, творимым в присутствии богов и судеб, в зримо-незримом пространстве, куда не имеют доступа ни историки, ни репортёры, ни слепые с открытыми глазами. Вдруг недавнее декадентское прошлое парижанина Волошина,

увенчанное славой и известностью, просто и поразительно пришлось кстати, понадобилось, пригодилось — как возможность и средство *торга*: он встал в человеческий рост над гражданским безумием, между двумя — красной и белой — неменяемостями и стал выторговывать, выпрашивать, вымалывать у той и другой жизни. Белые жизни у красной смерти и красные у белой. «*Палач-джентльмен. Очень вежливый. Родом латыш. Слегка заикается. Всё делает собственноручно, без помощников*». Или в другой зарисовке: «*Иногда напивался и говорил сестре милосердия: «Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из-под земли*». Говорят, однажды это был садист, вежливый почитатель поэта, в котором Макс не мог, сквозь кожанку и маузер, не узнать Трибула Бономе из рассказа Вилье де Лиль-Адана: бессмертного буржуа и убийцу лебедей, сворачивающего им шеи, чтобы они пели свои лебединые песни, а он поощрял искусство. По-видимому, и почитателю пришло вдруг в голову нечто подобное — в форме необыкновенной вариации на тему русской рулетки. Он разрешил поэту из каждой партии ведомых на расстрел выбирать и возвращать в жизнь кого-то одного. То есть поставил его как бы рядом с собой в роли младшего компаньона, *подельника* по ведомству случая и судьбы, случая как судьбы: сам он в главной роли господина над смертью и жизнью, а рядом известный поэт, которому он даёт возможность изведать на себе смысл слов о неисповедимых путях Господних. В уверенности, что стихи поэта от этого по-всякому станут лучше... Они и стали лучше, настолько лучше, что уже как бы и совсем не стихи. О каких ещё стихах может идти речь там, где отточенная до совершенства стихотворная форма служит гортанью неслышанным, немислимым, невозможным, онемевшим от ужаса вещам! И через них — народному Архангелу, проводящему народ сквозь ад и скрежет зубовый в залитое светом и сознанием будущее!

## 7

В этом, пожалуй, и заключается урок катарсиса, преподанный России Максимилианом Волошиным. Только прожив, пережив и выдержав ужас, яму и петлю её истории, можно догадываться о том, какое место уготовано ей в будущих списках света.

*Базель, 27 марта 2017*

